

ДЯДЯ СЕВЕР

Примерно раз в год к нам приезжал брат отца – дядя Игорь. Он работал где-то далеко на Севере, участвовал в каких-то экспедициях, у него была густая черная борода, косматые брови, огромные руки и зычный бас.

Мы, дети, им восторгались.

Зимой он обливался ледяной водой, летом мастерил змеев и седлал старую байдарку. На Севере дядя ходил на медведя, терялся в тайге, боролся с горными порогами, вел знакомство с таинственными народами и вступал в перестрелки с браконьерами. Его истории передавались из уст в уста, обрастая небывалыми подробностями, – мальчишки всей округи были, например, уверены в том, что дядя умеет говорить с птицами на их языке. Или в том, что как-то раз он две недели просидел на дереве, окруженный стаей свирепых волков, питаясь корой и дождевой водой.

Отец смеялся и махал на брата рукой с позиции старшего, хотя разница между ними была смешная – три года. Мать дядю недолюбливала, но внешне этого никак не выказывала.

– Никак не повзрослеет, – говорила она.

Мы удивлялись ее словам, ведь если и складывался в наших маленьких сердцах образ настоящего взрослого, то он на девять десятых соответствовал образу дяди. Более того, дядя был старше всех, кого мы знали, – не по возрасту, а по самому своему существу.

Вечерами мы толпой поджидали его у крыльца. Он выходил, затапливал резную трубку, опускался на лавку и принимался задумчиво смотреть, как над низенькими домами догорает закат.

– Дядь, дядь, расскажи про Север, – обступали мы его.

В моем положении племянника не было ровным счетом никаких привилегий – он был дядей нам всем – и никому. Он был ни на кого не похож, и даже его ребячество, – о котором теперь я вспоминаю с теплом, – было каким-то иным, особым. Он был слишком своим и слишком чужим.

Дядя ерошил волосы – на висках они уже начинали седеть, – пыхтел трубкой и смотрел с прищуром:

– Про Север?

Мы набивались к крыльцу и оседали на противоположной лавке, на дощатом полу, на перильцах. Не вместившиеся облепляли крыльцо снаружи, толкаясь и переругиваясь.

Дядя закидывал ногу за ногу, смотрел мечтательно вдаль. Мы боялись шевельнуться. Наконец он поворачивался к нам и начинал с постоянного и столь любимого «как-то раз».

– Как-то раз отправились мы на заброшенную станцию...

Или:

– Как-то раз пришлось мне заночевать в лесу...

Или же:

– Как-то раз сообщили нам, что с гор идет лавина...

Далее следовала невообразимо увлекательная история. На заброшенной станции скрывался беглый преступник. Ночевка в лесу оборачивалась погоней за медведем, укравшим рюкзак. Известие о лавине позволяло спасти целую деревню. Дядя рассказывал о сухопутных рыбах, о птицах, читающих стихи, о деревьях, меняющих свое место.

Небо над нашими головами густело, занимались звезды. Дядя дытил трубкой и басил из-за своей бороды.

Север – чудный, далекий – казался нам удивительным, небывалым, фантастическим краем. Там жили приключения и загадки, туда отправлялись самые смелые, самые мужественные, самые ловкие, они создавали там свое, особое государство, живущее по своим, особым законам, о которых здесь знают только из книг. За дядиным басом слышался нам вой холодного ветра, дым от трубки, уползавший к крыше, казался вздохами затухающего костра, а ее огонек – угольком печи. Из серых дядиных глаз на нас смотрела снежная ширь – угрюмая и загадочная.

– Ты для них не дядя Игорь, – шутил отец, – а дядя Север.

Дядя улыбался; Север жил в нем, и временами казалось, что с нами он был лишь телом – душа же его скиталась где-то там, далеко, среди сосен и сугробов.

Примерно спустя неделю пребывания у нас, дядя начинал тосковать. Он рано вставал, уходил к реке, рыбачил или купался, днем был молчалив и сумрачен, к вечеру расходился – принимался шутить, смеяться, возвращался к своим историям. Перед сном запирался в комнате, читал.

Во взгляде его накапливалась какая-то тоска – подойдет к окну, постоит. Вздохнет – и отходит.

– Хватит страдать, – говорил тогда отец и усаживал брата за стол, – смотреть тошно.

Дядя улыбался смущенно, принимал веселый вид – но через какое-то время глаза его снова подергивались мутной пеленой, он слушал вполуха, смотрел как-то рассеянно, на вопросы отвечал невпопад.

Тяготило его отсутствие занятия; он то брался латать байдарку, то подряжался готовить ужин, то напрашивался в компаньоны для поездок по городу.

– Эх, – говорил он, – жаль, что вы дровами не топите. Я бы сутками дрова колот.

Отец смеялся.

В один из приездов дядя на радость детворе соорудил в ветвях старого клена настоящий дом – добротный, крепкий, сколоченный из досок и укрытый шифером. Первое время мы из него не вылезали – сидели

там с утра до ночи и даже забывали про дядины истории. Он спускался с крыльца, шел к клену, становился внизу и, задрвав голову, басил:

– Кто-кто в теремочке живет?

Мы, сдерживая смех, молчали.

– Ну, значит, я, – говорил дядя, закатывал рукава, ловко подтягивался – и в мгновение ока оказывался у входа. Мы заливались хохотом.

Дядя изображал удивление:

– А вы тут откуда?

И влезал к нам, если хватало места.

В домике было два окошка – одно смотрело на запад, другое на восток. Дядя показывал на западное:

– Ишь как полыхает.

И мы замороженно смотрели на закат.

– А ну-ка, – спросит, – какие ассоциации у вас вызывает такой вот цвет? – и пальцем укажет на огненную полосу.

Мы молчим. Кто-нибудь пролепечет:

– Т-теплые.

– Прекрасно, – подбодрит дядя. – А я вот сразу кузницу вспомнил. Как наш кузнец Илья молотом по наковальне бах! бах! Искры кругом, жарища, а ему хоть бы что. И под молотом вот такая же лента.

Следует рассказ про кузнеца Илью, который гвозди в узлы вяжет и подковы гнет, не морщась.

– А лет ему уже под шестой десяток, – подводит дядя итог. – Так-то.

И мы смотрели на облако, представляя себе кузнеца, – огромного, широкоплечего, какими рисуют богатырей в книгах.

Север – край богатырей.

Теснились в домике, жались друг к другу. Дядя задумчиво скреб бороду, спрашивал нас о чем-нибудь – не любил тишины. Из окошка лилось все меньше света, клен обступали сумерки.

Выходил на крыльцо отец, махал рукой. Мы спускались. Дядя смотрел на брата как-то искоса – ему было неловко за то, что он вот так, как ребенок, скачет по деревьям вместе с нами. Он доставал трубку, втыкал ее в бороду и, бормоча что-то, первым заходил в дом.

Когда дядя уехал, в кленовый дом повадились лазать местные старшекласники. Они курили, пили какую-то грошовую дрянь, заплевали весь пол и исписали ровные, досочка к досочке слепленные стены паскудными словами.

Отец устал гонять их, не выдержал и порубил домик в щепки.

Когда дядя в очередной раз приехал и увидел опустевший клен, буд-то с извинениями разводивший в стороны коряжистые руки, по его лицу пробежала тень.

– Никаких шалашей, – оборвал сходу отец, – или оставайся здесь шпану разгонять.

Позже я стал задаваться вопросом – для чего он вообще так упорно к нам приезжал? Год за годом дядя становился все более чужим, начинал тосковать уже не через неделю, не на следующий день – но сразу же, как только ступал на перрон, на котором его встречал отец. Куда там, я думаю, грусть заволакивала его сердце еще до отъезда *оттуда*, в тот момент, когда в его красивой голове появлялась мысль о доме.

И все же он приезжал. Настойчиво, через силу он тянул себя к нам – отцу, мне, матери, нашему клену и уличной ребятне. Зачем?

Я задал ему этот вопрос – по прошествии лет. Он превратился в коренастого седого старика, зубы его пожелтели, лицо покрылось морщи-

нами, но он был по-прежнему красив и силен – и выглядел точь-в-точь кузнецом Ильей, каким я видел его в мечтах о Севере.

А мечтали мы все – каждый мальчишка. Грезили суровыми зимами, бездонным небом, нестихающим шумом тайги. Я замучил отца мольбами о переезде – он только отмахивался и посмеивался, но однажды сказал серьезно и как будто с горечью:

– Куда нам.

Я его тогда не понял.

Получив очередной отказ, я отправлялся в дядину комнату – маленькую, светлую, с окошком в сад – и садился за стол. На столе, прижатые стеклом, пестрели фотографии, письма.

Улыбалась из-за плеча девушка с черными как уголь локонами. Махали руками строгие бородачи в ушанках – за плечами огромные рюкзаки. Смотрел внимательно седовласый священник.

Письма я до сих пор помню наизусть. Вот одно из них.

«Игорь, здравствуй.

К нам приехал какой-то художник из Москвы, можешь ты себе такое представить? Теперь шатается повсюду за нами и пишет пейзажи. И хорошо ведь пишет, собака! С каждого уже набросал по портрету, весь вагон засыпал бумагой, краской воняет – хоть плачь. И каждый день пьет. Но мужик – во такой, вы бы сдружились.

Олег вернулся со стоянки. Приволок с собой тощую лису и местного мальчонку – этот чудом не обмерз. Теперь вот будем думать, что с ним делать. А лиса обогрелась, отъелась да и осталась при нас – не прогонишь. Похожа на Катю. Назвали Стамеской. Ума не приложу, кому могла прийти в голову такая дурацкая кличка.

Прилетела весточка от Максима. Он обжился – и уже балакает по-ихнему с горем пополам.

Если тебе интересна судьба твоей книги, то она ходит по рукам от станции к станции – не понимаю, что в ней такого, но читаем запоем – про работу забываем. Так что в этом плане тебе огромное человеческое спасибо.

Ото всех тебе приветы, а я пошел, пожалуй, на боковую.

Своих поздравь и уговори все-таки назвать Антоном.

Антон».

И дата – месяц с небольшим от моего рождения. Отец на Антона не согласился. Письмо – пожелтевшее, на листе в клетку. Обложено со всех сторон записками – адреса, телефоны.

Ближе к окну, на столешнице выцарапана крохотная роза ветров. Я, сколько себя помню, был ею загипнотизирован – сидел и смотрел, такая она расчудесная – ровненькая, аккуратная, лучики будто друг за другом бегут. Свет-тьень, свет-тьень.

Я садился за стол и представлял себя дядей. Выкладывал перед собой тетрадь, смотрел задумчиво в окно, грыз карандаш, чесал подбородок и выводил на бумаге планы далеких экспедиций. Или писал письма воображаемым товарищам. В одном из них была такая фраза:

«И скажи всем, чтобы не трогали мое ружье».

Я очень боялся, что кто-нибудь в мое отсутствие будет стрелять из моего ружья.

Из окна было видно яблоню и угол сарая. В яблоне чернело дупло, в котором по весне пищали птенцы. Дядя говорил, что птенцы вырастают, читают через стекло координаты на записках, летят к нему на Север и живут там в сторожке – сторожат.

На правах родственника я водил в дядину комнату паломничества – мальчишки робели, топтались у стола, книжного шкафа, присаживались на край диванчика. Пахло пылью и чернилами. Шептались, листали бережно книги, в ящики не лезли никогда – берегли чужие тайны.

Вечерами, бывало, зайдет отец. Зажжет абажур, устроится поудобнее – и читает. Но читает не дядино – что-то свое.

А я грезил Севером. Мне снились необозримые пестрые дали, северное сияние, усталые великаны-горы. Красивые сильные люди обжигали губы кипятком и улыбались снегопаду, кузнец Илья громыхал молотом и шурился от летящих искр, отважные охотники по пояс в сугробах пробирались через чащу, а в самом центре Севера – на белоснежном плато, окаймленном вековыми соснами, под шатром из зеленых сполохов, под пристальными взглядами тысяч звезд стоял дядин фургончик. В крохотном окошке не гас свет, вверх тянулась ниточка дыма. По плато завывала вьюга, скребла стены вагончика, заглядывала внутрь. За соснами, во тьме, плавали огоньки волчьих глаз, скрипело, ухало и шумело. Вилась по вдали рваная полоска гор, бледная луна нехотя ползла от края до края, равнодушно глядя на вагончик.

А в вагончике – спокойный и уверенный – сидел дядя и читал. Или чертил планы. Вся его деятельность, думалось мне, заключалась уже в том, чтобы просто *быть там* – населять этот невозможный загадочный край своей красивой душой, своими благородными мыслями. Все снега Севера были насыпаны для того, чтобы дядя исчертил их своими следами, все небесные иллюминации были приведены в движение лишь для того, чтобы дядя увидел их – и пересказал нам.

И закат – то самое солнце, которое обегало день за днем всю землю, подолгу задерживалось у горизонта и не желало уйти, не дослушав очередной истории, звучащей в домике на дереве. Зато когда дядя замолкал, солнце тут же юркало за дома, словно торопилось туда, к снегам – еще раз увидеть то, о чем только что слышало.

Однажды перебирали с матерью старые фотоальбомы, нашли измятую, пожелтевшую карточку – отец и дядя, совсем еще дети. Отец на две головы выше брата, смотрит ровно, с вызовом, дядя – большеголовый, худенький, с огромными удивленными глазами жметя к отцовской руке и даже как будто прячется за него. Когда мать ушла в кухню, я забрал карточку себе. Отправился в дальнюю комнату и долго рассматривал два детских лица. Не зная наверняка, навряд ли можно было сказать, что на фото – братья; настолько они казались непохожими друг на друга. Я смотрел и искал в них свои черты – на кого похож я?

Зазвенели в прихожей ключи – отец вернулся с работы. Я юркнул к себе и спрятал фотографию в щель между комодом и стеной.

С тех пор я регулярно лез за комод, нащупывал кончиками пальцев угол карточки, бережно вытягивал ее, ладонью стирал осевшую пыль и рассматривал, вглядывался подолгу. Со временем я стал различать во взглядах детей то, что раньше ускользало от моего внимания. В глазах отца – где-то далеко за решительностью, за вызовом – я увидел настроженность, напряженность. Еще глубже, едва заметно мерцало что-то похожее на неуверенность.

В глазах дяди за смущением, близким к испугу, за волнением я видел удивление, какую-то открытую озадаченность. Раз за разом вникая в потускневшее изображение, я как в воду погружался в дядин взгляд – слой за слоем. За удивлением шла доверчивость, за доверчивостью

мечтательность, за мечтательностью... Я не мог понять, что это было. На самом дне огромных глаз я чувствовал что-то, чему не мог подобрать определения, как ни пытался. Это было что-то безмерно далекое, удивительное – и в то же время смутно знакомое, словно виденное во сне. Будущий красавец-богатырь смотрел на меня из далекого прошлого так, словно знал, что я вижу его, обращался ко мне. Взгляд *говорил*, а я – в меру своего понимания – внимал.

Летом переклеивали обои. Отец двигал комод и обнаружил карточку – махровую от пыли, с истрепанным уголком.

– Гляди- ка! – присвистнул он и протянул находку матери.

Мать вопросительно посмотрела на меня, я пожал плечами. Она достала из шкафа альбом, вложила в него фото и вернула на полку.

Но вечером моего сокровища в альбоме не оказалось. Я трижды изучил все страницы, залез под каждую фотографию, вытряхнул обложку, для верности перелистал остальные книжки и поскреб линейкой под шкафом, но карточка как в воду канула.

На мой вопрос отец посмотрел непонимающе – вероятно, он забыл о фотографии как только выпустил ее из рук, – а мать сказала, что не брала.

– Возьми другую, их там море, – добавила она.

Но другой такой не было, и я долго еще горевал о пропаже.

Рыжий, весь в веснушках, Кирилл по прозвищу Винтик, живший через улицу, где-то раздобыл книжку про Север, и мое внимание – как и внимание всех окрестных мальчишек – обратилось к ней. Новая драгоценность вытеснила из памяти горечь о старой.

В книге было множество иллюстраций, куда более интересных, нежели текст, их сопровождающий. Столбики мелкого шрифта рябили цифрами и безжизненным научным языком сообщали какие-то статистические данные, которые нам были даром не нужны. Но вот художник постарался на славу – хвойные леса, заснеженные поля, фантастические виды неба, собаки, несущие за собой упряжку – со страниц буквально веяло холодом. На одном из разворотов была изображена извилистая река, испещренная порогами, вьющаяся между серыми скалистыми берегами. Над рекой нависал лес, по воде бежали хлопья белой пены. В самом центре чернела крохотная узенькая лодчонка – в ней угадывались две фигурки с веслами.

Когда – в очередной приезд дяди – мы показали ему реку, он махнул рукой и сказал:

– Это пустык, а не река. Бывают и посерьезнее.

Потом поскрипел страницами, посмотрел на обложку.

– А что это у вас за трофей? – спросил он. – Где взяли?

Рыжий Винтик забормотал что-то про Москву.

– Хорошая книга, – протянул дядя, рассматривая иллюстрации. – Только, – ткнул он пальцем в текст, – сухая, ненастоящая.

Вздохнул.

– Север, братцы, это вам не цифирки эти, не справочки... Это...

Он раскинул руки в стороны, словно обхватывал что-то колоссальное, но нужного слова подобрать не смог.

– А вы на собаках катались? – спросил робко Винтик.

Дядя посмотрел на него обиженно.

– Без собак, брат, никуда.

Сделал паузу и добавил.

– А лодки, бывает, запрягаем осетрами.

Мы закивали уважительно, но не поверили. Если мне не изменяет память, это был единственный раз, когда мы усомнились в дядиных словах.

Рыжий Винтик после университета несколько лет провел на Севере – инженером на станции. Но не прижился, не смог. Куда ему.

Я годами хранил в себе чудесную мечту – когда-нибудь да переехать *туда*. В какой-то момент мне показалось, что мечте лучше оставаться мечтой, и я оставил всякие рефлексии на эту тему.

Я все ждал, что дядя позовет меня к себе, – я вырослел, но смотрел на него с тем же восхищением. Пару раз намекал на то, что хотел бы уехать, он смотрел задумчиво и обещал поговорить с отцом. И все, никакого результата. Завертелось с учебой, подвернулась недурная работа – и я отвернулся от Севера. Потом появилась семья, и было уже совсем не до того. Холодные дали не ушли из моего сердца, но просочились в какую-то сокровенную его глубину, – не исчезая из виду, но и не притягивая к себе особенного внимания.

За последние несколько лет я виделся с дядей дважды: на похоронах отца и – не так давно – в его московской квартире. На похоронах дядя был молчалив и угрюм. На бледное, сухое лицо отца смотрел с каким-то недоумением, растерянно. Подошел к гробу, постоял молча, коснулся холодной руки, что-то пробормотал из-за седой бороды. Отошел, ссутулившись.

Перед отъездом – теперь я провожал его на поезд – мы, стоя на перроне, разговорились. Было зябко, свистел ветер и казалось, что вот-вот пойдет дождь. Вспомнили былые времена, домик на дереве, кузнеца Илью. Дядя глухо кашлял, голос звучал суше – он стремительно старел. Он говорил, а я смотрел в его глаза – теперь взгляд почти целиком состоял из того непередаваемого, *неопределимого*, что так влекло меня в той фотографии.

– Так-то, брат, – закончил он фразу, начало которой я не слышал.

В этот момент к нам подполз поезд.

Обнялись, пожали руки, дядя, легко подхватив тюки, зашагал к вагону и после короткой заминки исчез.

Вторая встреча произошла в Москве. Дядя уже около года жил в столице – здоровье не позволяло продолжать работу на Севере. Ему выделили уютную двушку, вменили из уважения какие-то обязанности, которые можно выполнять дистанционно.

Я на тот момент давно уже обитал за границей – далеко от Москвы. А тут оказался проездом совсем рядом, выкроил день и нагрянул к дяде в гости.

Он состарился, но выглядел весьма крепким. Волосы стали белыми как лунь, веки отяжелели, он плохо слышал. Увидев меня на пороге, чуть не заплакал от радости, обнял, чуть не сломав мне спину, проводил в кухню. В квартире царил идеальный порядок, по стенам висели картины, в каждой комнате тикали громко часы. Дядя засуетился, зашаркал по кухне, заваривая чай, накрывая стол. Я отметил, как много в нем стало стариковского, и загрустил.

– А я тут сию, как сыч, – заявил он. – Тоска смертная.

Засвистел чайник, дядя вывалил в плошку горсть баранок.

Я вспомнил, что оставил телефон в пальто, извинился и вышел в прихожую. Проходя мимо открытой двери, заглянул внутрь. Диванчик, шкаф, письменный стол. На столе ровные стопочки бумаг, часы в форме башенки и фотография в рамке.

Я не поверил своим глазам. Это было то самое, утерянное мое сокровище – два мальчика смотрят в объектив, один с вызовом, другой – испуганно. В одно мгновение на меня нахлынуло давно забытое – наш дом, клен, отец, невероятные истории, Север.

Чудесный, далекий Север.

– Дядя, – сказал я, вернувшись в кухню, – откуда у вас та фотография – что на столе стоит. Где вы с отцом.

Старик провел широкой ладонью по бороде.

– Сережа подарил, – сказал он.

Я не сразу понял, о каком Сереже речь. Отца никто, кроме матери, так не звал, да и от нее такое обращение можно было услышать редко.

Выходит, это отец взял тогда карточку из альбома. Почему не сказал?

Дядя принялся дуть на чай, от которого бежали струйки пара.

Разговорились. Обсудили нынешнее положение, родню, работу. В какой-то момент вернулись к воспоминаниям. Дядя говорил с жаром, увлеченно – словно соскучившись по общению.

А я смотрел в его глаза и не мог разобраться, где повседневное, а где – оно, таинственное? Все слилось, смешалось. Я в одно и то же время видел далекую, неуловимую загадку и простые переживания одинокого старика.

В конце концов дядя принялся говорить о Севере. И не было отца, чтобы вошел и прервал его, махнув рукой. Но это и не потребовалось бы – очень скоро дядя стал запинаться, встряхивать головой, и я понял, что он не может – или не желает – высказать всего, что скопилось в душе; понял, что ему тесно здесь, что он тоскует – по настоящей своей жизни, по прошлому, по молодости. По нам.

– Дядя, – перебил я его. – А переезжайте к нам. Сын уже учится – живет в общежитии, дом у нас просторный, двор есть.

Дядя замолчал. Глаза его заблуждали.

– Дров вам навезем, – пошутил я, – хоть сутки напролет колите.

Дядя нахмурился, поджал губы. Потом лицо его просветлело, он улыбнулся.

– Спасибо, братец. Подумаю.

И мы продолжили разговор.

За окном темнело, шумели машины. В домах напротив теплились огоньки окон. Дядя, опершись о стол, встал, задернул занавески, зажег лампу.

Я рассказал о том, как представлял себе Север, о волках, вьюгах и вагончике. Дядя смеялся, качал головой, но в какой-то момент задумался и притих.

Я замолчал вслед за ним. Несколько минут сидели в тишине, а затем я спросил снова:

– Зачем вы приезжали? Из года в год. Ведь мы все видели, что вам неуютно здесь. Зачем же было все это?

Дядя потер переносицу. Посмотрел на меня своим удивительным взглядом. Пожал плечами.

И ничего не ответил.

Когда мы встали из-за стола, был глубокая ночь. Дядя уговорил меня переночевать у него. Постелил на диванчике в комнате с фотографией, сам ушел в соседнюю.

Я влез под колючий плед и сжался на коротком жестком диванчике. На столе тикали часы, в комнате было темно. В щель между шторами я видел черное небо и точки звезд. Растревоженные воспомина-

ния не давали спать. Образы мелькали перед глазами, в груди щемило. Я вспомнил отца и впервые за долгое время заплакал.

За стеной раздался какой-то шум – как будто дядя ходил по комнате. Через несколько минут воцарилась тишина.

Я не мог спать. Дернул шнурок торшера, сел за стол.

И долго, очень долго – мне казалось, целую вечность – сидел и смотрел на фото. О чем я думал, сейчас не могу сказать наверняка. Может быть, все вспоминал, может быть, просто смотрел, может быть – пытался разгадать-таки дядин взгляд. И еще мне кажется, что я искал *это* в глазах отца. Нашел ли?

Когда черная полоска, соединяющая шторы, стала светлеть, я погасил свет и рухнул на диванчик.

И заснул.

Мне снилось, что все мы: отец, мать, рыжий Винтик, ватага местной ребятни, моя жена, мои дети, – все мы ютимся в тесном вагончике посреди ледяной пустыни. И только дяди с нами нет. Я хожу от окошка к окошку, тру запотевшее стекло ладонью и вглядываюсь в ночь, пытаюсь высмотреть знакомую фигуру, но пурга белой стеной встает передо мной. А где-то далеко слышится звон – бо-ом, бо-ом. Это кузнец бьет по своей наковальне. Хоть бы дядя пошел на звук – и переждал бурю в кузнице.

Я открыл глаза, но еще долгу секунды слышал угасающее эхо далекого звона. Было светло. На кухне присвистывал чайник.

Перед уходом я напомнил дяде о своем предложении. Он пожал мне руку и сказал, что предложение весьма заманчиво и что он хорошенько его обдумает.

Уже на пороге я вдруг спохватился и, смущаясь, спросил, нельзя ли мне взять на память – или хотя бы на время – карточку в рамке. Дядя вдруг как-то замялся, посмотрел растерянно.

– Да-да, конечно, – пробормотал он и зашаркал в комнату.

Я видел, как он застыл у стола, потом медленно взял фотографию, поцеловал уголок и, крепко держа обеими руками, вышел ко мне.

В эту секунду я получил ответ на вопрос, мучивший меня все эти годы.

– Простите меня, – сипло произнес я. – Простите. Пусть... останется у вас.

Дядя смотрел на меня, неловко перебирая пальцами по рамке. И вдруг я понял, что вот сейчас его взгляд – тот самый, взгляд мальчика, прижавшегося к старшему. Горечь подступила к горлу, я обнял дядю еще раз и вышел.

Когда за спиной хлопнула дверь подъезда, я обернулся и задрал голову. Дядя стоял у окна и махал рукой. У моих ног приземлился окурок, спланировавший с одного из балконов.

Спустя три недели я нашел в почтовом ящике письмо. Дядя просил прощения за отказ переезжать ко мне – и сообщал, что возвращается на Север.

«Здоровье... А что с него толку, коли сижу в этой коробке – и тоска заедает. Не могу больше, не выдержу».

Почерк плясал. Письмо было длинное, искреннее. Выстраданное.

Кроме него в конверте ничего не было.

СПИЦА

Мы погружали в пакеты крохотные складные табуреточки, сваливали к ним краски и кисти, заматывались в шарфы и, перешучиваясь, толкаясь, шли через парк. Во главе косяка, не оборачиваясь и не меняя темп, плыла высокая и тонкая наша Галина Игоревна по прозвищу Спица, а мы, дергая девчонок за косы и срывая с них шапки, семенили следом.

Вокруг ронял листву старый парк, все было в золоте, под ногами мягко шуршало. Тянуло теплой душистой сыростью. Остались позади колонны Дома пионеров, слева призраком проплыл забытый фонтан – изъеденный трещинами и мхом, – а мы все шли и шли, и конца не было видно этому царству Мидаса.

Впереди, за стволами, замаячила местная достопримечательность – медведь Константин. Это было допотопное – когда-то белое, а ныне серо-зеленое – изваяние в виде здорового медведя, вставшего на задние лапы и растопырившего передние. Напротив статуи раскинула ветви молодая, еще тонкая осина, недавно только пересаженная вглубь парка, и казалось, что Константин и осина спешат навстречу друг другу, чтобы слиться в объятиях. У медведя была удивленная морда и похожий на картофелину хвост чуть пониже спины, все это придавало ему нелепый вид, и смотреть на него без смеха было невозможно, даже если местные пэтэушники забывали сунуть ему в зубы сигарету. Автором скульптуры был некий Константин В. На постаменте, под когтистыми лапами так и было написано: «скульптор Константин В» – перенос – «в дар навеки любимой alma mater». Вернее так было написано когда-то, если верить Спице. Теперь же, по странной прихоти судьбы (или хитрых пэтэушников), все слова, кроме гордого «Константин», были начисто стерты. Так медведь обрел имя.

– Смотри! – зашипел Вовка.

Он кинулся к скульптуре, выхватил из-за пазухи черный пластиковый пистолет и шарахнул пистоном Константину в ухо.

– Володя! – окликнула его Спица, не сбавляя шага, – Это неуважение к труду художника и проявление жестокости по отношению к животному.

– Я – Дубровский! – закричал ей в ответ Вовка и дал два победных залпа в воздух. Далеко вверх птицы с криком сорвались с веток и зашумели в панике.

– Дубровский вызвал бы тебя на дуэль, – сообщила мраморным тоном Спица и ускорила шаг. Деревья поредели, сквозь листву смотрело небо.

Вовка юркнул к нам.

– А кто такой Дубровский? – спросил я.

– Какой-то солдат, – ответил Вовка. – Он воевал с Наполеоном и застрелил медведя в ухо.

– А что ему этот медведь сделал? – вклинилась розовощекая Оля Петрова.

Вовка раздосадовано закатил глаза.

– Какая разница? – потряс он рукой. – Это же война!

– Молодые люди! – прогремел над нами голос Спицы. – Все ко мне!

Это означало, что парк закончился и сейчас мы будем перебираться через пути. Мы обступили Спицу и затихли. Предстоял инструктаж.

Спица сняла очки, подышала на стекла, потеряла их голубым платочком, вернула на переносицу и отбросила со лба непослушную прядь.

– Молодые люди. Если хоть кто-нибудь из вас позволит себе отделиться от группы, пока мы находимся рядом с рельсами, я закрою нашу студию, увольюсь и не напишу больше ни одной картины за всю жизнь, – она обвела нас холодным взглядом. – И в этом будете виноваты, – долгая пауза, – только вы.

Спица уже тогда – немногим за тридцать – была самым известным в нашем городке художником. Ее картины возили в Москву, к ней приезжали на мастер-классы студенты художественных училищ со всей области, и про нее даже время от времени писали в газете. Поэтому угроза звучала более чем жутко. Исполнилась она, всю нашу младшую группу с позором изгнали бы из города.

– И нам пришлось бы скитаться по полям и лесам, жить в землянках и есть шишки, – расписывал в красках Вовка. Он очень любил фантазировать на эту тему.

– А теперь все прижмитесь ко мне, как к родной матери, – она развела руки как птица, собирающая под свои крылья птенцов, – и шагом марш на ту сторону!

Мы сгруппировались и многоруким, многоголовым чудовищем вывалились из парковой калитки. Все молчали и только шуршали пакетами. Время от времени раздавалось сдавленное шипение – кому-то наступили на ногу. Спица повела нас по узенькой тропе, которая сперва тянулась спокойно, а метров через десять оголтело бросалась вверх на насыпь и пересекала пути.

Пыхтя и сопя – спокойствие сохраняла только Спица, – мы подобрались к насыпи. Спица подняла вверх указательный палец – это означало необходимость тишины – и все затаили дыхание. Шумел за нашими спинами парк, завывал где-то заводской гудок. Поезда слышно не было. Спица опустила руку и медленно зашагала вверх по насыпи. Мы тянулись за ней как приклеенные. Насыпь была чуть выше человеческого роста, но воспринималась как Эльбрус.

Вовка изловчился и ущипнул Олю за шею, но она не взвизгнула, а только обернулась и гневно сверкнула глазами. В этот момент мы оказались на насыпи.

На всю жизнь врезалось мне в память то мгновение. Серое, с перекатами, небо – широкое и похожее на озерную гладь, какой она бывает в непогоду. Из-под наших ног в обе стороны убегают нити рельс – далеко, насколько хватает глаз. Мы, дети, ждемся к Спице, а она стоит как колокольня, смотрит холодно вдаль, и непослушная прядь прыгает по высокому лбу. Спица приосанилась, и я почувствовал на своем плече ее руку, тонкую и легкую руку художника – бледную от холода, с просвечивающимися ручейками вен. Кто-то неловко повернулся, и с насыпи покатались с радостным стуком камешки.

– Не зеваем, – скомандовала Спица и поволокла нас на ту сторону. Мы кубарем слетели с насыпи и горохом рассыпались по тропинке.

А затем нам предстоял долгий путь через чередующиеся рощицы-полюшки в поисках подходящего вида. В рошицах было сыро, по полям гулял промозглый ветер. Небо как нарочно растеряло все свои переливы и стало равномерно серым, будто заштукатуренным; наличие за облаками солнца угадывалось по вытертому на штукатурке светлому пятну. Осень здесь была не такая, как в городе, не огненно-золотая, парковая, а затухающая, уже почти отцветшая. От рошиц за нами подолгу гнались березовые листочки, дождем сыплющиеся откуда-то сверху, а поля встречали желтой жухлой травой, на которую не хотелось наступать.

Спица летела вперед со свойственной ей целеустремленностью, и ветер заискивающе кружил вокруг нее, то поправляя шарф, то сбивая на плечо. Она шла так, будто видела впереди конкретную цель, но чем дальше, тем яснее становилось – погода играет против нас, и, скорее всего, в какой-то момент мы просто развернемся и пойдем обратно. В прошлом месяце мы писали усадьбу на заре, до этого березовую рощу в солнечный день, сейчас же над нами подшутила осень, оставшись в городе вместо того, чтобы идти следом.

– Галина Игоревна, – пропищала Оля, уставшая и от дороги, и от Вовкиных облав, – давайте сегодня парк порисуем.

– Оленька, – не оборачиваясь отвечала Спица, – если ты не будешь доверять своему наставнику, ты ничему не научишься.

– Проверь, но не доверяй, – шепнул мне на ухо Вовка, и мы засмеялись.

Вовка внезапно юркнул в траву, и тут же оттуда в Олю полетело что-то серое.

– Крыса!!

Оля завизжала так пронзительно, что я зажмурился. Дети бросились врассыпную, роняя пакеты на землю. Я в ужасе отпрыгнул от мохнатого нечто, приземлившегося посередь тропинки. Неужели Вовка дошел до того, что и впрямь стал кидаться дохлыми крысами?

Но нет, обошлось. Приглядевшись, мы узнали в скользком комке здоровенную шерстяную рукавицу, грязную и выцветшую. Кто-то из мальчиков ткнул ее ногой в сторону покатывающегося со смеху Вовки.

Оля, тяжело дыша, выглядывала из-за Спицы, губы ее дрожали. Спица провела ладонью по ее волосам, закрыла глаза и шумно выдохнула.

– Володя, – медленно протянула она, не открывая глаз.

Вовка вернулся на дорожку.

– Володя, – повторила Спица.

Вовка насупился и надулся. До голени его брюки были мокрыми от травы.

– Простите, Галина Игоревна, – промямлил он.

– Не. У. Меня, – все так же, вслепую отчеканила Спица.

Вовка вздохнул, вытер нос грязной рукой и повесил голову на грудь, как герой древних былин.

– Оля Петрова, прости меня, пожалуйста, – протянул он и картинно сунул руки в карманы.

Оля вышла из-за Спицы и, презрительно задрав подбородок, проплыла мимо Вовки к своему пакету, из которого во все стороны рассыпались краски и кисти – точно тоже испугались противной рукавицы и пытались сбежать.

– Тебе, Володя, сегодня будет персональное задание, – ровным тоном проговорила Спица, – но это чуть позже. Молодые люди, – она подняла вверх руку, – рассаживайтесь и доставайте краски.

Никто не шелохнулся. Потом, будто оттаивая, мы принялись робко оглядываться по сторонам, пытаюсь понять, чего от нас хотят. Вихляя то влево, то вправо, уползала вдаль пыльная дорога. С одной стороны ее обрамляли жиденькие кустики, робко выглядывающие из травы, с другой – поодаль – взгляд натыкался на редкие березки, скинувшие уже листву и сиротливо жмущиеся друг к другу. Насколько хватало глаз расстилалось серо-желтое поле, то тут, то там вздыхающее холмами, за которые с готовностью пряталась дорога. Даль тонула в серой мгле и сливалась с серым же небом, по которому нехотя тянулись мрачные, угрюмые тучи. Далеко-далеко, налево от дороги, на спине одного из холмов темнели фигурки домиков.

– Молодые люди, – нарушила тишину Спица, – я одета не так тепло, как вы, а потому давайте-ка приступать. Раскладывайте свои троны, усаживайтесь поудобнее и принимайтесь за наброски. Сегодня старайтесь больше смотреть, чем писать, и стройте композицию так, чтобы с максимальной достоверностью перенести пейзаж на чистовую.

Мы в молчании, переглядываясь – а не сошла ли Спица с ума? – потыкали в пыль табуретки, прищепками закрепили на картонках бумагу и взялись за кисти.

– Надо было в такую даль тащиться, – пробурчал Вовка, придвигая свой табурет к моему, – писали бы сразу заводскую стену. Не много бы потеряли.

– Володя, встань, будь добр. У тебя, напоминаю, задание персональное, – оборвала его Спица. – Переместись, пожалуйста, во-он туда, – она махнула рукой за наши спины. – Ты, Володя, сегодня пишешь не пейзаж, а натюрморт.

Все на мгновение затихли, а потом захохотали, поняв, что она имеет в виду. Вовка покачался с минуту с пятки на носок, глядя куда-то в сторону, но потом все-таки потащился к злосчастной рукавице и поставил табурет в метре от нее. И сел к нам спиной.

– Володя, постарайся, пожалуйста, передать тонкую лирику сего предмета. – без тени улыбки наставляла Спица. – Я хочу, глядя на твою картину, понимать, чья это рукавица, при каких обстоятельствах она оказалась в этом поле и при каких обстоятельствах, – интонация пошла вверх, – она оказалась на том месте, на котором мы видим ее сейчас.

Вовка демонстративно поерзал и не ответил. Грязная выцветшая ва-режка одиноко и как-то виновато пестрела под его ногами.

– Остальные пишут пейзаж под названием... – Спица кончиками пальцев уперлась в подбородок, – «Осенняя дорога».

И мы писали «Осеннюю дорогу». Становилось все темнее и темнее, только у горизонта почему-то светлело. Ветер лез за шиворот и под рукава. Было слышно, как шагает между нами Спица, рассматривая с высоты своего роста наши каракули, поправляя, подсказывая. Взгляду не за что было зацепиться, мы не понимали, каким должен быть конечный продукт, потому что не видели ничего, что было бы достойно переноса на бумагу. Перед нами не горели осенью клены, не парила радуга, не мерцала водная гладь – серый унылый пейзаж уплывал вдаль неуловимым, рискуя сползти куда-то за горизонт и исчезнуть. Небо и земля смотрели друг в друга молча и пристально, лицом к лицу, образуя шатер или грот. Вспоминая тот поход, я долгое время считал, что Спица

поторопилась, что мы были еще слишком малы для того, чтобы понять саврасовскую поэзию, но теперь я убежден в том, что лучшего момента найти было нельзя. Непостижимым образом тихий серый пейзаж вошел в нас и затаился, он жил где-то в глубине сердца, в памяти, в творчестве – незаметный, но и незаменимый. В какой-то мере этот пейзаж влиял на наш внутренний мир, храня в нем тихий, спокойный уголок, в который никому постороннему не было входа. Спица знала все это, она вела нас по пути собственных впечатлений. Раньше я считал, что лучшие ее картины висят в нашем областном музее. Теперь я понимаю, что свои лучшие картины она написала внутри нас. В ее действиях я по прошествии лет наблюдаю удивительную ясность и промыслительность – если и был среди нас человек, не готовый еще к восприятию невзрачной красоты, он был огражден от нее – а точнее, она от него – чьей-то рукавицей.

А тогда я, как и все, недоуменно следовал указаниям. Я всматривался в серую даль, и взгляд мой рассыпался бисером по всей плоскости ландшафта, серая даль была непонятна и представляла собой слепое пятно невиданных размеров. Серый оказался цветом, выходящим за рамки привычного спектра. В серой дали была тишина и ожидание, в ней была будничность и грусть, в ней была неудовлетворенность и неустроенность, отсылающая к чаяниям и надеждам. Серая даль не была самодостаточна, в этом, наверное, и заключалась ее суть – она тянула за собой вереницу образов и выступала в роли ширмы.

Все это незаметно вливалось в меня, как в сосуд; я неуклюже водил кистью по бумаге, а душа моя – как я понял потом – училась тишине и чуткости.

Спица подошла к Вовке и что-то говорила ему. Он сидел ссутулившись и изредка со скрипом чесал шею.

Когда домики на холме куда-то поплыли в сумерках, а горизонт вдруг ухнул и исчез, предоставив небу хлынуть на землю, Спица хлопнула в ладоши и провозгласила:

– Сворачиваемся, молодые люди!

Мы, притихшие, продрогшие, полусонные, поднимались с табуреток, сгребали в пакеты весь наш инвентарь и – с сырыми еще пейзажами в руках – готовились отправиться в обратный путь. Вовка долго топтался поодаль, все дул на свой натюрморт, даже мне отказывался его показывать и подошел ко всем только после того, как запрятал «Осеннюю варежку» к краскам.

Спица была молчалива и задумчива. Заговорила она, только когда мы добрались до путей. Мы выслушали инструктаж и с готовностью облепили ее. Говорили мы мало, но молчание было выражением умиротворенности, а не уныния. На вершине гряды, когда нога моя загнулась о рельс, я подтянулся и поверх голов посмотрел вдаль. Железная дорога уплывала к небу.

Щеку укололо холодным, закапал дождь. Спица ускорила.

По возвращении стало известно, что пока мы писали «Осеннюю дорогу», в актовом зале выступал скульптор Константин В. – он проездом оказался в родном городке и нанес визит «навсегда любимой alma mater». Рассказывали, что он был уже совсем стар, и поначалу никто из сотрудников его не узнал. На выступлении он волновался, часто подносил к глазам платочек и все время путал имена своих наставников. После – ходил по парку в поисках медведя, а найдя, долго стоял напротив, загордив осину, и смотрел.

Спрашивал про Спицу, но ее на месте не оказалось.

«Осенняя дорога» в дюжине вариаций осела на стене одного из многочисленных коридоров, но провисела недолго – часть помещений, включая коридор, требовали ремонта. В процессе перетасовок – кружки и секции расселяли по соседним кабинетам – наши этюды куда-то затерялись. Свой натюрморт Вовка после долгих размышлений отдал-таки Спице. Я видел «Осеннюю варежку» лишь раз – через пару лет, когда Спица перебирала полки в поисках эскиза на конкурс. Она вытянула из стопки прямоугольный лист, мятый с одного края, показала нам и сказала, что «что-то в этом есть» и что «зря Володя ушел из студии».

Я был недавно в том, что осталось от парка. Значительную его часть выделили под строительство крытого теннисного корта. Бело-голубая коробка, в которую вместилось бы два Дома пионеров, обложенная парковочными местами, надменно смотрела на призрак фонтана, коряжистые клены и нелепого Константина, стремящегося с объятиями к своей осине. Осина разрослась, вытянулась, и кончики ее ветвей в дождливую погоду касались макушки медведя. Студией руководил какой-то бородатый студент, я спросил его, можно ли порыться в старых бумагах в поисках «Осенней дороги», но он ответил, что большинство картин Галина Игоревна забрала с собой, когда переезжала. На вопрос о месте переезда студент пожал плечами и сказал, что Спица уехала куда-то в Европу.